

**Борис ХАЗАНОВ / Boris CHASANOV**

Из старых записей

I.

## **НЕМЕЦКИЙ ЭПИЛОГ: НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО**

*Сон, который не истолкован,  
подобен письму, которое не прочли  
Талмуд*

Перед рассветом я вижу одно и то же: большой серый город. Улицы блестят от дождя, потом начинает валить снег, народ толпится на остановке, автобус подходит, расплёскивая лужи, люди висят на подножках, и я среди них. Всё как прежде. Я дома. Нужно куда-то поехать, срочно кого-то повидать, позвонить по телефону, сообщить, что я вернулся. Нужно привести в порядок бумаги, которые остались в комнате. Я мечусь по городу. Дела идут всё хуже. За мной следят, ходят за мной по пятам. Ради этого мне и разрешили приехать: чтобы собрать недостающие материалы по моему делу. Я чувствую, что подвожу людей, а люди думают, что подводят меня.

В эту минуту я начинаю просыпаться и вспоминаю, что я неуязвим. Как я мог об этом забыть? Сон продолжается, но я уже ни о чём не беспокоюсь. Никто об этом не подозревает, но я-то знаю, что в кармане у меня иностранный паспорт. Это такое же чувство, как будто в вагон вошли с двух сторон контролёры – а у меня в кармане билет! И никто со мной ничего не сделает. Можно даже поиграть, притвориться, что потерял билет, увидеть жадный блеск в глазах у хищника. И медленно, не спеша, растягивая удовольствие, вынуть книжечку с геральдическим орлом. Счастливого оставаться. Я больше не гражданин этой страны. Хотя я приехал домой, в Москву, никакого дома у меня, слава Богу, нет.

Если правда, что сны представляют собой некие послания, то это письмо прислали мне вы, оно приходит уже не в первый раз, и каждый раз я возвращаю его нераспечатанным. Я отклоняю все приглашения в будущее. Сны ничего не пророчат. Нет, такой сон, если уж пытаться его разгадать, скорее предупреждает о том, что притаившаяся на дне сознания мысль абсурдна, что надежда бессмысленна. Надежда? Но ведь, как говорится, ты этого хотел, Жорж Данден.

Да ещё с каких пор. Должно быть, я всегда был плохим патриотом. С юности меня томил тоскливый зов: уехать. Точно мой костный мозг стонал по какому-то другому, экзотическому солнцу. Блудливая музыка юга, гитары и мандолины будили во мне злую тоску, *taedium patriae*\* – так можно было её назвать. Не то чтобы я стремился в какую-то определённую страну, нет, я совсем не хотел сменить родину. Я хотел избавиться от всякой родины. Я мечтал жить без уз национальности, без паспорта, без отечества. Вместо этого я жил в стране, где патриотизм был бессрочной пожизненной повинностью, в государстве, к которому я был привязан десятками нитей, верёвок, цепей и цепей. Много лет, всю жизнь меня не оставляло сознание несчастья, которое случилось со мной, со всеми нами, и последствия которого уже невозможно исправить; несчастье это заключалось в том, что мы родились в этой стране. Где надо было родиться? Ответ выглядел нелепо, но это был единственный ответ: *нигде*. То есть всё равно где, но только не тут.

И вот удивительным образом эта грёза стала сбываться. С опозданием на целую жизнь и примерно так, как сбылось желание получить сто фунтов стерлингов, заказанное волшебной обезьяньей лапе в известном рассказе Уильяма Джекобса. Как-то незаметно одно обстоятельство стало цепляться за другое, внутренние причины приняли вид внешних и «объективных», и вскоре оказалось, что все мы стоим, держась друг за друга, над обрывом; когда стало ясно, что отъезд нависает, уезжать расхотелось, но уже земля начала осыпаться, покатались камни... Наконец, обезьянья лапа, высунувшись из мундира, подала знак – и это произошло. И дивное, ласкающее слух слово: «апатрид», *бесподданный*, стоит в моих бумагах. Ибо вовсе без паспорта обойтись не удалось; но это уже не тот паспорт, который глупый поэт вытаскивал из широких штанин. Хорошо стать чужим. Восхитительно – быть ничьим.

Неизвестно, конечно, защитил бы меня такой документ в нашей бывшей стране, но, в конце концов, дело не в этом. В неот-

---

\* Отвращение к отечеству (лат.)

вязном сне, который долго преследовал меня, была только одна абсолютно фантастическая деталь: возвращение. И в этом вся суть. В конце концов мало ли здесь, рядом с нами, людей, покинувших родину? В Тюбингене какой-то старик в автобусе спросил меня: откуда я? И, получив ответ, сочувственно вздохнул: «Мой сын тоже эмигрировал». – «Куда?» – «В Мюнхен, – сказал он, – туда же, куда и вы».

Быть может, субъективно разница была не так уж велика. В детстве, уехав из Москвы в Сокольники, я был несчастнее всех эмигрантов на свете. И всё же – надо ли говорить об этом? – разница между нами не сводилась к тому, что беженец из Вюртемберга, покинув родные пенаты, провёл в вагоне два часа, а вашему слуге предстояло покрыть расстояние в две тысячи километров. Разница была даже не в том, что ему не надо было переучиваться, привыкать к чужому языку, денежной системе, бюрократии, к другому климату, к новому образу жизни, тогда как я был похож на человека, который продал имение, с кулём денег приехал в другую страну – а там они стоят не больше, чем бумага для сортира, и это же относится ко всей поклаже; весь опыт жизни бесполезен, всё, что накоплено за пятьдесят лет, чем гордились и утешались, всё это, словно вышедшее из моды тряпье, надо сложить в сундук и обзаводиться, неизвестно на какие средства, новым гардеробом. Нет, главная разница всё-таки состояла не в этом, – а в том, что, в отличие от швабского изгнанника, я ни при каких обстоятельствах не мог вернуться.

\* \* \*

Сегодня последнее воскресенье лета, тихий сияющий день. Должно быть, такая же погода стоит теперь и у вас. Даже число на календаре то же самое. Странно звучат эти слова: «у вас». «В ваших краях...» Смена местоимений – вот к чему свёлся опыт этих лет, итог смены мест и «имений». В здешних краях Россию могут напомнить лишь пожелтевшие поляны, с которых местные труженики полей уже успели – без помпы, без «битвы за урожай» – убрать злаки. Вот, думал я, если бы ничего не было, никого бегства, а просто ночью во сне джинн перенёс бы меня сюда, – догадался бы я, что кругом другая страна? По каким признакам? Опушка леса ничем не отличается от тамошних. Та же трава, такая же крапива у края дороги. Подорожник, кукушкины слёзки. Это напоминало игру в отгадывание языка, на котором написан текст. Многие буквы совпадают. Из букв складываются слова, вернее, то, что должно быть словами. Ибо смысла не получается. Это другая письменность. И как только начинаешь это понимать, как только

спохватываешься, всё меняется, и даже знакомые буквы становятся чужими. Ибо они принадлежат к другому алфавиту. Даже небо, если всмотреться, выглядит чуть-чуть иначе, словно количественный состав газов, входящих в воздух, здесь иной. Словно у старика, который бредёт навстречу, разговаривая с собакой, иначе устроено горло. Всё то же, и всё другое. И слава Богу.

Мы не уехали, как уезжают нормальные люди – пожав руку друзьям, обещая приехать в гости, приглашая к себе. Нас выгнали. Или, что в данном случае одно и то же, выпустили. Выпустили! Вот слово, вошедшее я обиходный язык, обозначив нечто само собой разумеющееся, слово, которое не требует пояснений. Выпускают из клетки, из тюрьмы. В отличие от беглецов 1920 года, мы были счастливыми эмигрантами. В Европу, в Израиль, в Америку, в Австралию – какая разница? Мы уезжали не на чужбину, а на свободу. *Heimweh is beter dan Holland*, как сказал какой-то соотечественник Мультиатули, лучше уж ностальгия, чем Голландия. Лучше подохнуть от тоски по родине, чем подохнуть на родине.

Родина и свобода – две вещи несовместные. Прыгнуть в лодку, оттолкнуться... и будьте здоровы. Однако эта метафора, как все метафоры, коварна. Она соблазняет возможностью обойтись без размышлений, а на самом деле узурпирует мысль, она навязывает говорящему собственную логику и договаривает до конца то, чего он вроде бы и не имел в виду. Метафора моря подразумевает берег, оставленный берег: отеческую сушу. «Ага, – скажете вы, – тут-то он и выдал себя». Что же, если угодно, считайте, что вы получили ещё одно письмо от Улисса, снесаемого тоской. В прошлом году он прислал открытку с видом на дворец царя Алкиноя. Потом со Сциллой и Харибдой. Только в отличие от настоящего Улисса он плывёт не домой, а в обратном направлении.

Ибо мы, политические эмигранты из страны победившего нас социализма, – мы не просто уехали. Уехав, мы перестали существовать. Нет никакой русской словесности за рубежом, мы – фантом. Нас сконструировали «спецслужбы». Нас выдумала буржуазная пропаганда. С нами случилось то же, что когда-то происходило с арестованными, увезёнными ночью в чёрных автомобилях, расстрелянными в подвалах, бесследно сгинувшими в лагерях: нас не только нет, но и *никогда не было*. Был такой случай: году в пятьдесят втором до нас дошёл номер московского партийно-просветительного журнала «Новое время». В разделе «Против дезинформации и клеветы» была напечатана статья, разоблачавшая очередную вылазку буржуазной пропаганды: какой-то журналист на Западе, выполняя волю своих хозяев, тиснул сенсационное сообщение о том, что в

районе станции Сухобезводное будто бы расположен крупный концентрационный лагерь с населением в 70 тысяч человек.

Читая эту статью, мы, сидевшие в этом лагере, испытывали род патриотической гордости, напоминающей гордость провинциалов, узнавших о том, что их заплесневелый городишко помянула столичная печать; опровержение нас нисколько не удивило: ведь мы отлично знали, что все мы вместе с начальством и охраной попросту выдуманы, изобретены врагами мира и социализма. Мы знали, что наше существование, существование миллионов заключённых во всех концах огромной страны, и отнюдь не только на её глухих окраинах, – утка, пущенная продажными борзописцами из западных газет, что мы – призраки, что нас нет, не было и не может быть.

Теперь это повторилось. Кто такой Икс? Не было никакого икса, такой буквы в алфавите не существует. А значит, и все слова, все вывески, все фразы, где затесалась эта буква, подлежат исправлению. Меня не существовало, поэтому всё, что я, допустим, написал, изъято из библиотек, всё, что я сделал, никогда не делалось, больные, которых я лечил, вылечены не мною, люди, которых поселили в моей квартире, в той самой квартире, где мы с вами когда-то сидели и философствовали о жизни и смерти, – люди эти понятия не имеют о том, кто тут жил до них. Это даже не политика, это логика. Всякое упоминание о нас недопустимо по той простой причине, что нас не было. Мы, так сказать, ликвидированы дважды. Выбрав свободу, мы изменили родине – это логично, выбирай что-нибудь одно. Но наказать нас за измену невозможно, так как нас не было. Невозможно и бессмысленно обсуждать вслух проблемы эмиграции: какие проблемы, если не было никакой эмиграции.

\* \* \*

Но я-то знаю, что вы меня помните. Для вас я тот самый путешественник в страну, откуда не возвращаются, о котором говорит принц Гамлет. Тот, о котором ещё не забыли, но никогда уже не думают в настоящем времени. Пока что я обретаюсь в имперфекте, завтра отодвинусь ещё дальше – в плюсквамперфект. Но если в самом деле существует потусторонний мир, его обитатели, надо думать, считают потусторонней нашу земную жизнь. И я ловлю себя на том, что думаю о *вас* как о мёртвых. Нет, я не хочу сказать, что там, в России, всё кончено. Солдат, раненый в бою, думает, что проиграно всё сражение, эту фразу Толстого не мешало бы помнить оказавшимся по ту сторону холма, всем, кто успокаивает себя мыслью, что всё честное и талантливое в стране так или иначе элиминировано, задавлено, упрятано за решётку или – уже

не в стране. Однако что верно, то верно: *отсюда* отечество представляется загробным царством, в котором остановилось время. Или по крайней мере страной, где вязкость времени, величина, которую когда-нибудь научатся измерять с помощью приборов, во много раз выше, чем в Европе. Словно на какой-нибудь бесконечно далёкой, обледенелой планете, там тянется один бесконечный год, пока здесь, на тёплом и влажном Западе, несутся времена, сменяются годы и десятилетия. Это простое сравнение, может быть, и заключает в себе разгадку того, почему гигантское допотопное государство, казалось бы, исчерпавшее возможности дальнейшего развития, государство с ампутированным будущим, – почему оно всё ещё существует, продолжает существовать, не желая меняться, почему его тупоумные властители изо всех сил делают вид, что ничего не случилось, уверенные, что впереди у них – тысячелетнее царство. Почему? Да потому что самые незначительные перемены для этого государства губительны. Огромная туша может позволить себе лишь медленные, тщательно рассчитанные движения. Упав, она не поднимется. Надо ли желать, чтобы она переставляла ноги быстрее? Никто, кажется, не даёт права на это надеяться. Ничто не заставляет этого опасаться.

Что же делать? Бесспорно, отъезд – это капитуляция. Толпа вольноотпущенников, разбежавшихся по свету, которую объединяют лишь чувство потери, да великий неповоротливый язык, привезённый с собою, как куль, с которым некуда деться, да ещё кошмар возвращения, – вот что представляет собой наше «мы», вот те, кто якобы не в изгнании, а в «послании». Представлять можно только самого себя, быть самим собой. Тогда и вы не умерли, и мы не побеждены. Обнимаю вас...

\* \* \*

Если когда-нибудь голос свыше спросит меня, как он спрашивает каждого: «Где ты был, Адам?» – я отвечу: собирал малину. Вёл за рога по лесным тропинкам двухколёсного друга. Медленно крутил педали вдоль тихих опрятных городков, мимо церквей, похожих издали на остро заточенные карандаши, мимо бензоколонок с развевающимися флагами, мимо кукольной богородицы в золотой короне на крошечной головке, с ребёнком на руках, – и думал о странной судьбе, которая привела меня в эту страну.

«Как вам удалось?..» Вопрос, который предполагает как нечто само собой разумеющееся, что у каждого нормального человека найдётся достаточно причин мечтать о бегстве из Советского Союза; загвоздка лишь в том, как это осуществить. И в конце концов уже не имеет значения, что же всё-таки заставило челове-

ка уехать оттуда, где не только деревья, но и люди говорят на родном языке, не важно, какая метла вымела его прочь из города, чьи улицы, переулки, сумрачные дворы, тёмные лестницы суть не что иное, как густо исписанные страницы толстой растрёпанной книги, которая называется его жизнью.

Давным-давно, во времена моего детства, в нашем старом кинотеатре на Чистых Прудах шёл фильм «Граница на замке». Крылатое слово тех лет. Публика радостно хлопала доблестным пограничникам, – тогда было принято аплодировать в кино, – и никому из сидящих в зале под дымным лучом не приходило в голову, что собственно означает название картины. Никто не смел себе признаться, что это они, весь народ до последнего человека, сидят в своей стране взаперти. Вряд ли кто мог помыслить о том, что ключ когда-нибудь повернётся и врата приоткроются, пусть на самую малость, но так, чтобы в эту щёлочку сумела проскользнуть горстка людей. Пылающая река, ограждавшая наш потусторонний мир, была частью государственной мифологии, слово «граница» приобрело для людей нашего поколения мистический смысл.

И вот настал день, когда мне предстояло переправиться через эту реку, пересечь границу так же просто, как перешагивают через ручей. Или как шествуют через Красное море, с ужасом и восторгом взирая на расступившиеся воды. Внезапная катастрофа отъезда, несколько дней, оставшихся на сборы, выполнение почти невыполнимых формальностей, садизм чиновников фараона, делавших всё возможное, чтобы убить у изменника родины последние сожаления о том, что расстаётся с ней, – всё вдруг отсеклось и отплыло, всё потеряло значение. Нас впустили за перегородку, на другой стороне провожающие, кучка друзей, плача, махали нам руками; началась проверка нашего скарба, перетряхивание рубашек, перелистывание книг, затем в камерке, где были только стол и два стула, произведён был обыск с раздеванием догола. Мой семнадцатилетний сын поднял руки, как я почти в этом же возрасте на Лубянке тридцать три года назад. «Ты что думаешь, – усмехнулся таможенник, – здесь гестапо?» В соседней комнате ту же процедуру проходила моя жена. Это было, конечно, не гестапо. Это был Советский Союз. Лишённые гражданства, имущества, документов и прав, мы всё ещё находились во власти рогатого Минотавра, всемогущего государства, и оно могло поступать с нами как ему вздумается. И самолёт был всё ещё «наш», радио говорило по-русски, и на лацканах у служащих красовалась эмблема Аэрофлота; граница летела вместе с нами; и лишь приземлившись, пройдя по узкому проходу мимо бортпроводниц, последних сви-

детелей нашего бегства, лишь когда сошли по лесенке и вступили на разогретый солнцем асфальт венского аэродрома, – заметили вдруг, что пылающая река, Флегетон греков, оказалась позади.

\* \* \*

Наше пребывание в австрийской столице было головокружительно-коротким, и речь не о ней. Речь идёт о Германии, которая уже втягивала в своё магнитное поле. Мы были беженцы. Мы были свободны. Выездная виза, клочок бумаги размером с почтовую карточку, сложенную вдвое, – единственное, что мы могли предъявить, – оставляла нам необозримо широкий выбор, или, что в данном случае то же самое, одинаково закрывала путь на все четыре стороны, как надпись на перекрёстке: направо пойдёшь, потеряешь коня, налево – голову сложишь; все страны были для нас чужбиной, все дали звали к себе. Мы были свободны, как никогда в жизни, родина ограбила нас дочиста, политическая свобода оказалась помноженной на свободу от всех привязанностей, от всех грехов и заслуг. Но на самом деле жребий был уже брошен. Говорили, что в Федеративной республике легче найти работу, что там есть закон, опекающий иностранцев. Всё это были доводы, придуманные, чтобы придать видимость разумного решения тому, что предшествовало всем доводам, и на самом деле я чувствовал себя так, как должна себя чувствовать металлическая пылинка вблизи магнитного полюса.

Parbleu, почему же Германия?

Ах, лучше всего было бы двинуть в Древнюю Грецию, в Афины V века. Но туда невозможно купить билет. Франция? Приют всех русских эмиграций, страна, о которой не зря было сказано: *chacun de nous a deux patries, la nôtre et la France* (у каждого из нас две родины: наша – и Франция). Времена, когда это государство без разговоров оказывало гостеприимство всем политическим изгнанникам, прошли. Значит, в Израиль? В этой стране меня ждали. Несомненно, это была единственная на всём свете страна, где нас не встретили бы как эмигрантов. Мы ещё не успели покинуть аэропорт, как в воздух поднялась и ушла на юго-восток белая птица с голубым щитом Давида. Улетела без нас. Почему? Я могу этому, как ни странно, дать лишь одно объяснение: потому что рядом находилась Германия. Потому что конь, на котором сидел чуть ли не в нижнем белье витязь, уже тянул голову в ту сторону, где, теоретически говоря, ему надлежало пропасть.

Никто не знал, как нас там встретят. После всего, к чему причает жизнь в России, баварская пограничная полиция может показаться благотворительным обществом, и всё же никто не мог пред-



сказать, как мы там будем жить. Язык должен был облегчить первые шаги – Гёте и Шиллер, старые добрые руки, поддерживали меня, я озирался вокруг, мне чудилось, что на каждом шагу я узнаю вечную Германию духа, в которой я вырос. Кто бы подумал, что это узнавание обернётся другой стороной, что этот язык, покуда он будет восприниматься лишь как код великой культуры, здесь, именно здесь станет помехой, что понадобятся особые усилия, чтобы отучиться глядеть на страну и людей сквозь магический кристалл литературы. Впрочем, мне нетрудно представить себе какого-нибудь восторженного идиота, прикатившего издалека, который ходит по Москве, восклицая: «О, наконец-то! Святая Русь! Страна Толстого и Достоевского! Наконец-то я увидел тебя».

Страны подобны художественным или мифологическим образам: в них всегда остаётся нечто недоговорённое, к ним никогда нельзя относиться как к отражениям действительности; каждая страна присутствует в сознании в виде некоторого фантома, который возникает Бог знает из чего, из преданий и предрассудков, из школьного мусора, из каких-то клочьев тумана, плывущих из незапамятного детства, даже из звуков самого имени: ведь русское слово «Германия» воспринимается совсем по-другому, чем немецкое Deutschland. Иначе и волшебнее звучат названия земель и городов, в них слышится нечто неведомое немецкому уху, за ними скрывается то, чего, возможно, не видят и никогда не видели немецкие глаза. Тайна переживания чужой страны не менее интимна, чем тайна национализма. «Нам внятно всё – и острый галльский смысл, и сумрачный германский гений». «Он из Германии туманной...». За этими эпитетами, не правда ли, стоит целый комплекс представлений.

Но было бы неправдой, если бы я сказал, что лунно-серебристая, призрачная, лесная, вся звенящая птичьими голосами родина европейского и русского романтизма, лунный лик и локоны Новалиса – были единственным мифом, который однажды и навсегда впечатался в сознание. Рядом с ним и почти из него вырос и заслонил его другой миф, другой образ Германии, наделённый такой же гипнотической силой. Бесполезно было бы швырять в него чернильницей. Прогнать его не так просто.

\* \* \*

«Wirklich, ich lebe in finsternen Zeiten...»

«Право, я живу в мрачные времена! Беззаботное слово глупо. Гладкий лоб говорит о бесчувственности. Тот, кто смеётся, ещё не услышал страшную весть».

«Что это за времена, когда разговор о деревьях становится

почти преступлением, ибо он заключает в себе молчание о погибших...»

«Правда, я всё ещё зарабатываю на хлеб. Но верьте мне: это случайность. Ничто из того, что делаю, не даёт мне права есть досыта. Я уцелел случайно. Если мою удачу заметят, я пропал».

Когда-то в России казалось, что стихи Брехта написаны обо мне, о таких, как я, – их было много, – для которых недоверие к более или менее благополучной действительности было нормальным чувством, кто знал: если он жив и всё ещё ходит на воле, то лишь по чьему-то недосмотру. Теперь и эти стихи стали частью воспоминаний.

Здесь вообще многое напоминало Россию, например, музыка. И, конечно, литература. «Das Buch Le Grand» Гейне, упоительная вещь, которую я читал в вагоне метро, поздно вечером зимой сорок четвёртого года, катаясь из конца в конец по линии Сокольники – Парк Культуры, потому что дома не горел свет. Возле Тюбингена на зелёном холме стоит Вюрмлингская часовня, которая украшала толстый том сочинений Людвига Уланда, подаренный мне ко дню рождения, сто лет назад. «Наверху стоит часовня...» Внизу – долина. Я был уверен, что всё это поэтический вымысел. Этот вымысел оказался действительностью, чтобы в конце концов тоже напоминать о России.

Однако стихотворение Брехта приобрело другой смысл.

Всё, что мы можем сказать о волшебстве немецкой музыки и поэзии, о мощи немецкой мысли, о красоте ландшафтов, всё это будет ложью, если оно заключает в себе молчание о погибших.

Как же можно прикатить было сюда, получить политическое убежище, кров и хлеб из рук этой гостеприимной страны после того, что происходило с ней и в ней ещё на нашей памяти... Мы видели на экране ликующие толпы, руки, простёртые навстречу Вождю, мы видели фотографии, сделанные в концлагерях. Германию называют Протеем. Редко какой народ так круто поворачивал, до неузнаваемости менял свой облик, как немцы на протяжении последних полутора столетий. Германия в год смерти Гегеля – и Германия в 1871 году, через каких-нибудь сорок лет. Усы Вильгельма Второго и усики Шикльгрубера. За всеми переменами, однако, осталось нечто неколебимое: чинная жизнь небольших опрятных городков, пёстрые черепичные крыши церквей, музыка из окон, часовня на холме. Трудолюбие, добросовестность, серьёзность. Ах, об этом говорено уже тысячу раз... Вечный вопрос: оттого ли этот народ стал добычей тоталитаризма, что он был таким, или он стал *таким* оттого, что стал жертвой тоталитаризма?

Похожий вопрос мы задавали себе в России. Но в России значительное большинство народа лишено исторического сознания; людям не приходит в голову, что целое государство может стать преступным; а просвещённые немцы должны были это понять. Они поняли; но было уже поздно. Они поняли это, иначе демократия, хоть и насильственно внедрённая победителем на Западе, не пустила бы глубокие корни, какие она всё-таки здесь сумела пустить.

А всё же удивительно, как две страны, которых история века дважды столкнула лбами, повторяют одна другую, связаны тайной близостью, при том что трудно найти два других столь разных народа. Существует параллелизм политического, в обеих странах запоздалого, и параллелизм духовного развития. Эволюцию немецкого романтического национализма, сначала голубого, затем багрового, повторяет эволюция «русской идеи», сходство наркотически-чарующего почвенничества в обеих странах бросается в глаза – общая тяга назад, в лес и деревню, к Средним векам, эротическое влечение к народу, в женственно-тёмную глубь. Существует общее для обеих традиций отрешение от эгалитарного прогресса, от соблазнов технической цивилизации, от торгашеской демократии, отталкивание от французского рационализма и англосаксонского прагматизма, – тоска по утопии – и там, и здесь. И, как некий убийственный итог, обрыв истории с её естественным завершением: общий опыт каннибализма. Да, конечно, Германия разделалась со своим прошлым, более или менее разделалась, – чего нельзя сказать о её бывшем тоталитарном двойнике. Сонм историков и публицистов, радио, телевидение, печать не устают беречь старые раны; всё упреки, какие нация могла бросить самой себе, брошены в Германии. Повторил бы теперь Томас Манн то, о чём он писал Вальтеру фон Моло, – что ему страшно возвращаться на родину? Как на безумца посмотрели бы на того, кто сказал бы тогда, на развалинах войны, что во второй половине века эта страна станет самой мощной демократией Европы.

\* \* \*

Демократия и культура состоят в сложных отношениях. В культуре есть нечто сопротивляющееся демократии, почти презирающее её. Культура – если подразумевать под ней то, что традиционно обозначалось в Германии словом «дух», *der Geist*, – и демократия говорят на разных языках. Но, расставаясь с демократией, культура изменяет гуманизму. Этот немецкий комплекс, комплекс высокомерия, есть одновременно и великий урок немецкой культуры, преподанный в нашем веке с убийственной наглядностью.

Где-то между 16 и 17 годами я поднёс к губам запретную чашу

с наркотическим отваром и отхлебнул от неё со смешанным чувством дурноты, отваги и наслаждения. Я говорю о философии Артура Шопенгауэра. Может быть, следовало назвать какое-нибудь другое имя, этот возраст – возраст чтения философов, – но, в конце концов, почему бы не это имя? Мне приятно вспомнить о нём. Во втором томе его трактата, в знаменитой главе о любви, есть место, где говорится, что взаимное влечение влюблённых есть не что иное, как воля к жизни ещё не зачатого существа. Какая странная, хоть и воспринятая от греков, но вместе с тем и чисто немецкая идея. Есть нечто стремящееся стать действительностью, ещё не существующее, но уже сущее. Существует текст, который ждёт, чтобы его написали на бумаге. И я помню, как очаровал и озадачил меня этот спиритуалистический романтизм философа, некогда популярного в России, но в советское время исчезнувшего с горизонта; осуждённый самим «Лукичом», он возглавил индекс особо зловредных авторов, куда входили, само собой, и Ницше, и Шпенглер, и множество других: самый интерес к этим авторам приравнивался к политическому преступлению. Запрет всегда повышает акции писателя. Напротив, очарование крамольной книги исчезает, лишь только она перестаёт быть крамольной.

Однако криминальный философ заключал в себе самом некоторое противоречие. Насколько гипнотизирующей, дурманящей была его проза, насколько поработал и затягивал волшебным ритмом старинный слог и манил мистической красотой благородный готический шрифт, – загадочное родство шрифта и текста есть факт, не подлежащий сомнению, – настолько непривлекательней выглядел сам автор. Прочсть его характер на дагерротипе не составляло труда. Два-три эпизода аттестовали его достаточно ярко. Могу представить себе, что было бы, если бы я поступал к нему в дверь, во Франкфурте, в доме на улочке под названием «Чудный вид» (Schöne Aussicht). Я так и слышу шаги на лестнице, лай пуделя и скрипучий голос: «Гоните его вон!». Капризный старец, мстительный и самовлюблённый; семидесятилетний Нарцисс, заглядевшийся в своё отражение в чернильнице. (Эта острота, по другому адресу, принадлежит Тютчеву). Разительное противоречие между человеком и его творчеством, контраст гениальности и мещанства постепенно перерастал в какой-то зловещий символ. Быть может, он был предчувствием великого антигуманистического искуса, который таила в себе немецкая мысль.

В Вене – я снова возвращаюсь к первым дням – мы брели по Рингу под пышными каштанами, это было на другой день после приземления, и здесь, как потом в Германии, казалось, что улица

выметена домашней щёткой, а не метлой. Сорок лет назад на этой улице кучка седобородых евреев, кто на корточках, кто на коленях, чистила мостовую зубными щётками. Между ними прохаживались полицейские, а на тротуаре стояла гогочущая толпа.

Нашему поколению не нужно было объяснять, что значит слово «немецкий». Все формы ненависти сошлись в одной: биологической, эндокринной. «Так убей же хоть одного, так убей же его скорей. Сколько раз ты увидишь его, столько раз его и убей!» — «В Германии, в Германии, в проклятой стороне...»

День начала войны 22 июня 1941 года, самый длинный день в году, был счастливым днём моей жизни. С утра радио передавало бодрые марши, музыка гремела на улицах, солнце играло в стёклах домов, вся старая и скучная жизнь была разом отменена. Мне было 13 лет. В полдень передавалась речь Молотова. Меньше двух лет назад он подписал пакт о дружбе с Германской империей, он говорил тогда о справедливой борьбе немецкого народа против англо-американского империализма. Башмаков не успели стоптать. Теперь он сказал, что ответственность за развязанную войну несут германские фашистские правители, и я помню, как резануло слух это слово «фашистский», вот уже два года вычеркнутое из лексикона. Ожидали, что выступит Сам, но он куда-то делся, целых две недели о нём ничего не было слышно. В те дни трубный глас близкой победы с утра до вечера раздавался из репродукторов, разнёсся слух о том, что наши войска взяли Варшаву, Будапешт и Бухарест; потом вдруг поняли из невнятных и противоречивых военных сводок, из глухих и зловещих намёков, что немцы окружили Ленинград, подошли к Смоленску и, может быть, через неделю-другую будут в Москве.

Нужно было жить в те времена, много лет изо дня в день слышать песни и оды о непобедимости Красной армии, видеть фильмы о парадах на Красной площади, панно и плакаты с шеренгами марширующих сапог, с частоколом штыков, с эскадрильями и парашютистами, нужно было каждый день читать и слышать о том, что мы живём в самой справедливой стране и потому при малейшей угрозе, при первой попытке врага посягнуть на наши священные рубежи, народы мира, трудящиеся всех стран и прежде всего пролетариат Германии поднимутся на защиту первого в мире государства рабочих и крестьян, — нужно было это слышать, ведь и сейчас, через столько лет, стоит только закрыть глаза, музыка, и гром, и гомон начинают звучать в ушах: если завтра война... малой кровью, могучим ударом... ни одной пяди своей земли... артиллеристы, точней прицел... но если враг нашу радость живую... на его же территории... ведь от тайги до британских мо-

рей... не видать им красавицы Волги... ворошиловские пули, ворошиловские сабли... эй, вратарь, готовься к бою! Нужно было этим жить и всему этому верить, чтобы разделить изумление, смятение, ужас, охватившие миллионы людей, когда они догадались, *что* происходит на самом деле. Невиданная по мощи и организованности армия не шла, а маршировала, не ехала, а катилась, не наступала, а неслась на нас, давя и сметая всё на своём пути, немецкий пролетариат и пальцем не подумал пошевелить ради нашего спасения, народы мира помалкивали, и единственным, да и то далёким и полуреальным нашим союзником, словно в насмешку над великим учением марксизма-ленинизма, оказались империалисты, тучный Черчилль и загадочный дядя Сэм.

Через неделю после начала войны мой отец вступил добровольцем в народное ополчение, некое подобие войска, в спешке и панике сформированное из мелких служащих, немолодых рабочих второстепенных предприятий, музыкантов, учителей, парикмахеров и других бесполезных людей. В начале июля ополчение выступило в поход в составе 32-й армии, вместе с ней попало в гигантский котёл между Смоленском и Вязьмой и в короткий срок было истреблено почти до последнего человека. Время неслось наперегонки с наступавшим вермахтом. Грянули необычайно ранние и жестокие морозы – русский Бог спохватился и, как мог, принялся вывозить свою несчастную страну. Кучки уцелевших полузамёрзших людей разбрелись по лесам; и, проблуждав в тылу противника два месяца, отец мой каким-то чудом вышел из окружения.

Перед этим он как-то заночевал в одной деревне. Поздно вечером в избу постучались немцы. Молоденький офицер спросил: «А это кто? Откуда? Партизан? Еврей?» Хозяйка ответила: «Он из нашей деревни».

Интересно было бы узнать, что стало потом с этим человеком. В какой-нибудь немецкой семье стоит, наверное, в углу на столике его фотография в чёрной рамке. Но если считать, что вероятность быть убитым на Восточном фронте равнялась одной пятой, вероятность умереть в русском плену – четырём пятым, вероятность вернуться калекой и окончить дни в разрушенной и голодной Германии – половине, то остаётся всё же некоторая возможность, слабая вероятность, что он жив до сих пор. В таком случае почему бы ему не оказаться в Федеративной Республике? В Мюнхене? Может быть, мы живём на соседних улицах, встречаемся каждый день в переулке. А если бы крестьянка сказала правду? Если бы я сам с мачехой и маленьким братом в сорок первом году оказался на оккупированной территории? В конце концов это было вполне воз-

можно. Я не воевал, но и у меня было не меньше шансов сыграть в ящик, чем у этого офицера, хотя бы потому, что я принадлежу к племени, сгоревшему в печах.

\* \* \*

Оставив Вену, мы провели несколько дней на границе вблизи Берхтесгадена, где некогда находилась горная резиденция Гитлера, в местах изумительной красоты. С необычайной вежливостью полиция препроводила нас в деревенскую гостиницу. Посёлок казался безлюдным. В две шеренги вдоль главной дороги стояли плодовые деревья, в траве валялись яблоки, никто их не подбирал. Я увидел церковь, перед калиткой стоял велосипед, две женщины бродили по маленькому кладбищу. За рядами памятников из хорошего камня, с золотыми надписями, виднелся аляповатый гипсовый ангел, распростёрший крылья над столбцами имён. Это были местные жители, погибшие на войне. Проклятое прошлое преследовало меня. Но теперь я смотрел на него как бы через перевернутый бинокль. Со странным любопытством принялся я читать фамилии, даты, места смерти; то были по большей части совсем молодые люди, чуть ли не подростки, так, по крайней мере, мне казалось теперь. Один убит в Норвегии, другой над Францией – сбит в воздушном бою, ещё кто-то в Греции, на Крите, два или три человека не вернулись из-под Эль-Аламейна. Но и Греция, и Франция были исключениями. Я пробегал глазами надписи, как водят пальцем по строчкам сверху вниз, имя за именем, дату за датой, и почти везде стояло одно и то же слово: Russland, Россия. Итак, одной этой альпийской деревни было достаточно, чтобы заполнить лесную поляну где-нибудь невдалеке от тех мест, где бродил мой отец. Сколько таких деревень в Баварии, сколько таких полей в России? Наша страна так велика, что в ней хватило бы места для пятидесяти Германий. Отсюда СССР представлялся сплошным кладбищем – без ангелов и крестов. И только здесь, в такой благополучной, как казалось, Германии, сначала смутно, потом ясней начали вырисовываться масштабы апокалиптического возмездия, которое полвека назад разнесло вдребезги эту страну. Мечь, принимавшая самые отвратительные формы, настигла этот народ, всех без исключения, устранив разницу между виноватыми и невиноватыми; виновны были все уже потому, что они были немцы. Мечь затмила военные, государственные, идейные и моральные соображения. Военные действия шли своим чередом – мечь стояла над ними. Она поднялась со дна океана, как цунами. Миллионы беженцев устремились на запад. Мечь перекатилась через головы наступавших и обрушилась на бегущих.

Тех, кто спасся, ждало второе возмездие – уже состоявшееся. К концу войны бывший рейх представлял собой страшное зрелище. Не уцелело ни одного крупного города. Одна из последних сводок гласила: «Поле развалин, прежде именовавшееся городом Кёльном, оставлено нашими войсками». Среди этих развалин высился, словно гигантская двойная сосулька, выщербленный и повреждённый, семисотлетний Кёльнский собор. Берлин, Гамбург, Франкфурт, Майнц, Вюрцбург, Дортмунд, Эссен, Дюссельдорф, Кассель, Нюрнберг, Мюнхен, Аахен, Бремен, где возле собора стоит памятник славным бременским музыкантам, кстати сказать, так и не добравшимся до города, были разнесены в щепы. Дрезден был уничтожен в одну ночь. Кольцо огня окружило город, и шестьдесят тысяч жителей и беженцев, запертых в центральных районах, задохнулись в дыму или погибли под обломками. Тысяча двести гектаров руин остались от изумительной столицы Августа Сильного. Престарелый Гауптман видел зарево на небе с крыльца своего дома в Силезии. Вестфальский город Мюнстер, который вырос вокруг монастыря и епископства, основанного Карлом Великим в VIII веке, погиб на 98 процентов, каким образом был произведён такой точный подсчёт, не постигаю. Я побывал в городишке Цербст. В 1745 г. свадебный поезд с гайдуками, с форейторами повёз отсюда в Санкт-Петербург 16-летнюю принцессу Софи-Фридерике-Августу Ангальт-Цербстскую, будущую русскую императрицу Екатерину II. Через много лет после войны Цербст, разбитый русской артиллерией, напоминал человека, чудом выжившего, но оставшегося без лица. Масштабы кары, поразившей Германию, можно было сравнить разве только с катастрофой Тридцатилетней войны, но в XVII веке не было бомбардировочной авиации. И в эту съёжившуюся, словно шагреновая кожа, проклинаяемую всем миром и околевающую Германию хлынуло двенадцать миллионов беженцев из восточных областей. Одни бежали сами, другие были изгнаны после войны. Так окончилось «опьянение судьбой», Schicksalsrausch, двусмысленное словечко, брошенное Мартином Хайдеггером.

Современник свидетельствует: «Три года, с весны 1945 до лета 1948 года, немцы были одним из самых обнищавших народов на земле». Было подсчитано, что для того, чтобы разгрести развалины Франкфурта, понадобится тридцать лет. Каждый немец мог надеяться приобрести миску или тарелку в среднем один раз за пять лет, получить пару башмаков один раз в 12 лет, костюм – один раз в 15 лет. Лишь один из пяти новорождённых мог лежать в только ему одному принадлежащих пелёнках, и один из трёх



умерших мог надеяться, что его похоронят в гробу. В сорок восьмом году какой-то шутник из Карлсруэ писал, что каждый житель сможет приобрести каждые пятнадцать лет одну поварёшку, каждые 150 лет – умывальник и каждую вечность – одну зубную щётку. Наступил Час Нуль, когда многим казалось, что история кончилась или начинается заново на пустом месте.

\* \* \*

Ничто так не врезалось в память, как первые впечатления реальной жизни: ни памятники старины, ни ландшафты, ни даже то, что повергало в ошеломление нашего брата: неслыханное изобилие продовольственных витрин. Западный уровень жизни задаёт свой собственный язык богатства и бедности, непереводаемый на язык российской неустроенности и нищеты, чем и объясняются крайности, между которыми мечется эмигрант: то он чувствует себя приобщённым к неправдоподобно благоустроенной жизни, точно бедный родственник, которому разрешили переночевать в богатом доме, то испытывает, как ему кажется, ещё больше лишений, живёт ещё скудней, чем на родине; ибо он попросту не умеет жить этой жизнью. Сытая жизнь для него, как и для всякого русского, – синоним лёгкой жизни, он поглядывает свысока на заевшихся немцев и не хочет понять, что ограниченность естественных ресурсов и умение максимально использовать то, что имеется в распоряжении, пресловутая немецкая бережливость, любовь к порядку, короче, всё то, что русскому человеку кажется непроходимым мещанством, – и есть один из секретов благосостояния. Обалделый чужеземец бредёт мимо ярко освещённых выставок изобилия, словно среди садов Семирамиды, забыв, что ещё совсем недавно на месте этих садов высились холмы щебня и обгорелых кирпичей.

И точно также раздваивается, колеблется между двумя крайностями ощущение самого себя в головокружительно новом мире. Кажется, смешно и думать о том, чтобы начать, с лысой головой, жизнь заново, смешно задавать вопрос, что изменилось в тебе с переселением на чужбину. На него давно ответил латинский поэт. *Coelum, non animum mutant qui trans mare currunt*. Небо меняет тот, кто бежит за море. Небо – а не душу.

А с другой стороны, переменить страну, по крайней мере для людей, как мы, никогда не бывавших за бугром и уехавших насовсем, навсегда, без надежды когда-либо вернуться, – не то же ли, что родиться заново? Никогда восприятие не бывает таким свежим, как в детстве; эти первые времена и были нашим немецким детством. Но видеть действительность такую, какова она есть, – вообще *видеть* – научаешься много позже. Ничто так не раздражает эмигран-

тов из России, как то, что немцы (американцы, французы) «неспособны нас понять». Стоило бы задуматься о том, что эта неспособность – не что иное, как зеркальное отражение собственной неспособности, а часто и нежелания понять живущих здесь. Довольно скоро после переселения вашему слуге посчастливилось увидеть в мюнхенском театре *Kammerspiele* (где позднее я стал завсегдатаем) «Вишнёвый сад» в постановке Эрнста Вендта. Три затянутых марлей, ярко освещённых окна должны были означать комнату, за которой находился сад. На тесной авансцене метались действующие лица в несуразных костюмах. Потом сели пить кофе, едва уместившись за крошечным столиком. Немного погодя Гаев обратился с приветственной речью к комоду или какому-то ларю: «Дорогой, многоуважаемый шкаф!». Старик Фирс, который по совместительству изображал смерть и был по этому случаю облачён в мундир служащего похоронного бюро, называл Гаева «господин Леонид». Во втором акте деликатный Лопухин ни с того ни с сего съездил прохожего по физиономии. В третьем акте Раневская оплакивала проданный сад, сидя на полу, и танцующие гости перешагивали через неё... Публика смотрела на всё это с чрезвычайным вниманием. Чувствовалось, что спектакль захватил зрителей. Итак, вся эта диковинная обстановка, старательно выговариваемые русские имена, ненатуральные жесты, вся эта гротескная, липовая Россия – воспринималась всерьёз! Но понемногу настроение зала передалось и мне. К концу пьесы я, можно сказать, примирился с ней. (Впоследствии я видел много чеховских пьес на этой сцене. Мне казалось, что они были сыграны лучше, чем в России).

Я шёл домой и думал, что сказал бы немецкий зритель, посмотрев, к примеру, «Перед заходом солнца» в московском Малом театре, увидев, как я в Мюнхене, битком набитый зал, зрителей, зачарованных странным спектаклем. Если существует русский Гауптман и то, что можно назвать русской Германией, почему не может быть немецкого Чехова? Я не знаю писателя, который ближе, интимней выражал бы моё чувство России; но в конце концов Чехов принадлежит всему миру. Почему не может быть немецкой России? Велика ли важность, если эта Россия не вполне совпадает с той, которую *мы* считаем единственно подлинной? Тем, кто видит её иначе, нет до нас никакого дела. Мы маркируем действительность при помощи символов, понятных только нам; сочетаясь друг с другом, они образуют модели; создав модель, мы полагаем, что усвоили действительность, постигли страну. В этой инсценированной нами действительности мы чувствуем себя уютно – до тех пор, пока внезапно не зашатаются фанерные декорации, не по-

валятся кулисы и актёры умолкнут в растерянности, не зная, продолжать ли пьесу или бежать с подмостков.

\* \* \*

Должно быть, теперь мы и заняты тем, что кропаем новую пьесу, после того как действительность разнесла конструкции, с коими прожили мы целую жизнь. Об этом можно сказать лишь кратко, чересчур велика опасность впасть в новый схематизм, в умозрительность или сентиментальность. В конце концов выясняется, в пику Овидию, что не только душу, но и небо мы привезли с собой. Унести на подошвах землю, правда, не удалось. Но если можно, вопреки всему, говорить о «вживании», то оно состоит не в том, чтобы усвоить внешние формы чужеземной жизни, обрядиться в другую одежду, привыкнуть к местной кухне. Приобщение к новому заключается в том, чтобы почувствовать за благополучием Германии, за свежестью и чистотой её городов, за свистящими лентами идеально гладких дорог, за всем благообразием её цивилизации, – почувствовать, да, – чёрный провал, след травмы. Эта травма, о масштабах которой можно догадываться лишь проживая здесь, возможно, и является концентрированным выражением некоторого тайного смысла немецкой истории.

Каково бы ни было будущее Европы, оно зависит в первую очередь не от Америки и не от России, но от этой срединной страны. Загадка Германии – по крайней мере для нас – состоит уже в том, что этот Феникс восстал из пепла, хоть и без крыльев, что эта нация в поразительно короткий срок оправилась после такого разгрома, который навсегда низвёл бы любую другую страну на уровень третьеразрядного провинциального существования. Загадка Германии – это соединение книжного идиотизма, мечтательности, музыкальности, порывов к сверхреальному – с практическим разумом, волей и дисциплиной. Парадоксальным образом нация, чья склонность к иррационализму по сей день служит лейтмотивом всех рассуждений о Германии и немецкой судьбе, предстаёт глазам соседей как народ, ведущий чрезвычайно размеренный, почти геометрический образ жизни, а его страна – как образец разумного, подчас слишком разумного благоустройства.

Цивилизованный Запад, каким его представляют себе в России, «пригожая Европа», как назвал её Блок, в первом приближении оказывается Германией; и слово «немец» ещё три века назад означало западноевропейца вообще. Германия, поставившая невест для семи поколений русских монархов, обучившая властителей России государственному управлению, бюрократии и военному делу, оставившая так много слов в русском языке, страна-

педагог, страна-фельдфебель, трудолюбивая и мечтательная, холодная и чувствительная, втайне страдающая от своей холодности и неисцелимо одинокая, по сей день остаётся для нас заколдованным садом, где смеются феи, а в тёмном гроте спит грозное войско, где на каждом шагу видны следы работы неутомимых рук. Но садовника нет.

## II

### Миф Россия / Mythos Russland

Вот я сижу и в который раз перебираю свои безутешные мысли. Перелистываю свои старые тексты и вижу, что ничего не изменилось. Я думаю о моей стране и о том, что такое я сам перед лицом моей страны. Я знаю, что тут решается вопрос всей моей жизни, ведь если бы это было не так, я воспринял бы феномен этой страны лишь как более или менее возвышенную абстракцию; я сказал бы себе, что эта страна огромна, хаотична и разнотипна, что ее пространства не вмещаются в мое воображение, что ее история несоизмерима с моей жизнью, что она непостижима, что она для меня просто не существует. И что на самом деле я сопричастен лишь некоторой эмпирической реальности, более или менее неприглядной, и вопрос в том, чтобы определить свое отношение к этой реальности, избегая метафизических терминов, таких как Россия, русский народ и проч.

В действительности это не так, и я ощущаю эту страну, всю страну в целом, физически, как ощущают близость родного человека.

Da sitze ich nun und ordne meine trostlosen Gedanken. Versuche, aus ihnen irgendeinen endgültigen Schluss zu ziehen. Ich denke über mein Land nach und darüber, was ich angesichts meines Landes bin. Ich weiß, dass sich hier die Frage meines ganzen Lebens entscheidet, denn wäre es nicht so, so hätte ich das Phänomen dieses Landes nur als mehr oder weniger überhöhte Abstraktion begriffen; ich hätte mir gesagt, dass dieses Land riesig, chaotisch und vielgesichtig ist, dass meine Vorstellungskraft seine Weiträumigkeit nicht aufnehmen kann, dass sich seine Geschichte und mein Leben nicht mit derselben Elle messen lassen, dass es unfasslich ist, dass es für mich einfach nicht existiert. Dass ich tatsächlich nur an einer gewissen – mehr oder minder ungeschönen – empirischen Realität Anteil habe und es nun darum geht, mein Verhältnis zu dieser Realität zu bestimmen und dabei solche Termini wie Russland, russisches Volk und ähnliche zu vermeiden.

In Wirklichkeit stimmt das nicht, und ich spüre dieses Land, dieses ganze, große Land, wie man die Nä-

И оттого, что я сознаю, до какой степени запуталась, до какой невыносимой черты дошла моя жизнь с этим близким мне человеком, я не нахожу в себе решимости свести проблему к простому вопросу перемены квартиры, не могу спокойно обдумать, как мне устроить для себя новый очаг. Мысль о новом супружестве меня не увлекает. Для этого я слишком намучился в первом браке, да и слишком прирос к своей старой жене. Словом, я одновременно здесь и не здесь, там и не там, и в сущности говоря, ни здесь, ни там.

Вспоминая бегство из Австрии, события и людей, и вспоминая, как он пытался их описать, писатель-изгнанник Элиас Канетти говорит о том, что у него было чувство, будто любое понятие, которое он применял к этим вещам, меняло их, и они становились не такими, какими он пережил их когда-то. Можно ли, однако, освободить „вещи“ от понятий, приросших к ним, как кожа? И не верней ли будет сказать, что то, что подразумевается здесь под первоначальным переживанием, есть на самом деле вторичный процесс, который совершается в воспоминаниях, что только в воспоминаниях мы обретаем чистый и целостный, не замутированный сиюминутными страстями, не опосредованный никакой философией образ действительности? Быть может, вытесненный в некоторое особое пространство памяти, истинный лик страны только тогда и открывается нам, когда мы покинули ее навсегда? Но как описать его?

he eines vertrauten Menschen spürt. Und weil ich mir bewusst bin, wie weit sich mein Leben mit diesem mir nahestehenden Menschen verwirrt hat, wie es an die Grenze des Erträglichen gestoßen ist, finde ich nicht die Entschlusskraft in mir, das Problem auf die einfache Frage eines Wohnungswechsels zu reduzieren, kann ich nicht ruhig darüber nachdenken, wie ich mir ein neues Heim schaffen könnte. Der Gedanke an eine neue Ehe behagt mir nicht. Dafür habe ich mich in der ersten zu sehr abgequält und bin mit meiner alten Frau zu sehr zusammengewachsen. Kurz, ich bin gleichzeitig *hier* und doch nicht *hier*, *dort* und doch nicht *dort*, im Grunde genommen bin ich weder *hier* noch *dort*.

„Ich hatte das Gefühl“, sagt Canetti, „dass jeder Begriff, den ich von außen an diese Dinge setze, sie irgendwie färbt und verändert und dass sie nicht mehr so betrachtet werden, wie ich sie selbst erlebt und bedacht habe.“ Kann man aber die „Dinge“ von den Begriffen befreien, die wie eine Haut mit ihnen verwachsen sind? Und wäre es nicht richtiger, zu sagen, dass das, was hier als ursprüngliches Erlebnis verstanden wird, in Wirklichkeit ein Wiederholungsprozess ist, der in der Erinnerung abläuft, dass wir nur in der Erinnerung ein reines und heiles, von augenblicklichen Emotionen ungetrübtes und von keiner Philosophie relativiertes Bild der Wirklichkeit erhalten? Vielleicht offenbart sich uns das in einem besonderen Winkel des Gedächtnisses verdrängte, wahre Antlitz unseres Landes erst dann, wenn wir es für immer verlassen haben? Doch wie soll man es beschreiben? Es gibt ein paar berühmte Zeilen von Fjodor Tjut-

„Умом Россию не понять... В Россию можно только верить...“ Твердишь про себя эти строчки, точно грызешь заусеницы. Стихи, в которых отчаяние соединено с неявной аналогией нации с Богом. Постигнуть божество рациональными средствами невозможно. Зато в него можно уверовать! Характерное для русского сознания сочетание приниженности и гордыни, почти религиозная вера в Россию, — или, может быть, желание верить?.. Подлинная вера не требует доводов, не нуждается в подтверждениях. Но на чем держится этот колосс? Не один я ломал себе голову над этим вопросом, и уже то, что его задает себе одно поколение за другим, представляет замечательную особенность страны. Почему она до сих пор существует? Все, что сказано выше о российской государственности, о политическом строе Советского Союза, о массовом образе жизни, должно быть отнесено, скорее к отрицательным ценностям коллективного сознания. Я не отрицаю их мощи как организующих и консервирующих факторов. Все же они составляют лишь поверхностный слой, доступный описанию сравнительно простым языком политической истории или социальной психологии. В глубине души дремлет иное — почти невыразимое чувство. Это чувство можно назвать истинной верой.

Существует чувство России. Назвать его патриотизмом или национализмом значило бы свести его к набору шаблонных понятий. Оно свойственно самым разным

schew; sie wurden vor über hundert Jahren geschrieben: „Mit dem Verstand ist Russland nicht zu verstehen ... An Russland kann man nur glauben ...“ Verse, in denen sich die Verzweiflung mit einer versteckten Gleichsetzung der Nation mit Gott paart. Das Göttliche mit rationalen Mitteln zu fassen ist unmöglich, dafür kann man daran glauben. Ist das die für das russische Bewusstsein charakteristische Verquickung von Unterwürfigkeit und Hochmut, ein religiöser Glaube an Russland oder eher der Wunsch, zu glauben? Wahrer Glaube verlangt keine Beweisgründe, braucht keine Bestätigungen. Doch worauf hält sich dieser Koloss? Nicht nur ich allein habe mir über diese Frage den Kopf zerbrochen; schon die Tatsache, dass eine Generation nach der anderen sie sich stellt, ist eine hervorstechende Besonderheit Russlands. Weshalb existiert es bis heute? Alles, was oben über die altrussische Staatsorganisation, über die politische Ordnung der Sowjetunion und über die Art und Weise, in der Masse zu leben, gesagt wurde, sollte eher den Negativposten des kollektiven Bewusstseins zugerechnet werden. Ich leugne ihre Kraft als organisatorische und konservierende Faktoren nicht. Dennoch bilden sie nur die Oberflächenschicht, die sich mit der verhältnismäßig einfachen Sprache der politischen Geschichte oder der Sozialpsychologie beschreiben lässt. Tief im Herzen schlummert ein anderes Gefühl, das man kaum ausdrücken kann. Dieses Gefühl kann man als echten Glauben bezeichnen.

Es gibt ein Gefühl für Russland. Es Patriotismus oder Nationalismus zu nennen hieße, es als Klischee abzustempeln. Es ist den unterschiedlich-

людям, принадлежащим ко всем этажам общества. Тому, кто не симпатизирует режиму, оно позволяет игнорировать режим; тому, кто кормится его подачками, оно служит оправданием: ибо он всегда может сказать себе, что изменить государству значит посягнуть на Россию.

Это чувство связано с огромностью страны. Если прав австрийский писатель Э. Канетти (автор книги „Масса и власть“), и каждый народ обладает своим массовым символом, концентратом его самосознания, то для России этот символ – даль. Бесконечная даль, расчеченная пополам дорогой. Можно ехать много дней подряд, и забыть, как забываются под действием чудного наркотика, и почувствовать, как гремющий на стыках, качающийся, словно колыбель, вагон стоит на месте и пространство медленно разворачивается навстречу длинному, в полкилометра поезду, и увидеть, как далеко впереди неустанно работает локомотив; и за окнами будет Россия, и на следующей станции будут снова надписи на кириллице, и в купе войдут люди, разговаривающие на русском языке, и расплакавшийся ребенок будет что-то лепетать по-русски. Можно проехать полсвета, повидать два континента, оставить за собою одну за другой несколько великих рек, пересечь несколько климатических поясов, тундру, тайгу, степь, миновать сожженные солнцем солончаки и въехать в пустыню – и все это будет еще Россия. Существует переживание дали, чувство потерянности и вме-

ten Menschen eigen, durch alle Etagen der Gesellschaft hindurch. Es gestattet dem, der dem Regime nicht wohlgesonnen ist, dieses zu ignorieren; wer sich dagegen von dessen Almosen ernährt, dem dient es als Rechtfertigung, denn er kann sich immer sagen, dass eine Änderung des Staates einem Anschlag auf Russland gleichkäme. Dieses Gefühl hängt mit der gewaltigen Größe des Landes zusammen. Wenn der Autor von *Masse und Macht* recht hat und jedes Volk sein Massensymbol, das Konzentrat seines Selbstbewusstseins besitzt, dann hat Russland als Symbol die Weite. Die endlose, vom Schienenstrang in zwei Hälften zerschnittene Weite. Man kann viele Tage hintereinander unterwegs sein und dabei wie unter der Wirkung eines wunderschönen Narkotikums wegsacken; dann wird man das Gefühl haben, als bliebe der auf den Schienenstößen ratternde und wie eine Wiege schaukelnde Waggon immer auf demselben Fleck und als gleite der Raum langsam dem wohl einen halben Kilometer langen Zug entgegen, während die Lokomotive weit vorne unermüdlich arbeitet. Und vor den Abteilfenstern wird Russland sein, und auf der nächsten Station werden die Aufschriften wieder kyrillisch geschrieben sein, und ins Abteil werden Leute einsteigen, die sich russisch unterhalten, und das aufweinende Kind wird irgend etwas auf Russisch wimmern. Man kann die halbe Erde durchreisen, zwei Kontinente besichtigen, einige große Ströme nacheinander hinter sich lassen, einige Klimazonen – Tundra, Taiga, Steppe – durchqueren, die sonnenverbrannten Salzböden passieren und in die Wüste hineinfahren – und es wird immer noch Russland

сте с тем – безопасности, чувство, что за тобой – беспредельное пространство, где можно скрыться, пропасть, где тебя никто не настигнет. Такая большая страна не может погибнуть. Существует русский Бог, существо, мало похожее на христианского Бога, и, конечно, существо, в которое никто не верит; но он существует. Этот Бог ленив и беспечен. Он предпочитает махнуть рукой на все происходящее: авось разберутся без него. Вот отчего в этой стране все идет вкривь и вкось. Но в последнюю минуту, на краю пропасти, перед самым концом, этот Бог вмешается. Он не допустит, чтобы Русь загремела в тартарары. В конце концов, бывало и хуже; а все как-то обходилось. Обойдется, Бог даст, и впредь.

Не революционное прошлое, не гражданская война, не успехи индустриализации служат источником гордости, нет, над всем этим прошлым стоит черная тень. Но подлинным источником утешения, тайного самолюбования, горделивой уверенности в том, что никакие испытания не могут сокрушить страну, самая огромность которой служит залогом ее устойчивости, – остается для миллионов людей война, память о войне, сама по себе переросшая в новый миф. Мотивы этого мифа вплетаются в предания, которые сохранились в каждой семье. Война – единственная область прошлого, где официальный словарь не вступает в противоречие с народным сознанием, и в контексте военных воспоминаний даже имя Сталина не вызывает у простых

sein. Es gibt das Erlebnis der Weite, das Gefühl der Verlorenheit und gleichzeitig der Sicherheit, das Gefühl, dass man einen unbegrenzten Raum hinter sich hat, wo man sich verstecken und untertauchen kann, wo einen keiner auffindet. Ein so großes Land kann nicht zugrundegehen. Es gibt einen russischen Gott, ein Wesen, das dem christlichen Gott kaum ähnelt, und natürlich eines, woran niemand glaubt; doch er existiert. Dieser Gott ist faul und leichtfertig. Er lässt lieber alles laufen, wie es will: Man wird schon ohne ihn auskommen. Deshalb geht in diesem Land alles drunter und drüber. Doch in allerletzter Minute, am Rande des Abgrunds, kurz vor dem Ende wird dieser Gott eingreifen. Er wird nicht zulassen, dass Russland krachend in den Tartarus stürzt. Schließlich war es auch schon schlechter und ging doch alles irgendwie glimpflich vorüber. Gebe Gott, dass es auch fernerhin irgendwie gut geht. Nicht die revolutionäre Vergangenheit, nicht der Bürgerkrieg, nicht die Erfolge der Industrialisierung geben Anlass zum Stolz, nein, über dieser Vergangenheit liegt ein schwarzer Schatten. Ein echter Quell des Trostes aber, der heimlichen Selbstverliebtheit, der stolzen Gewissheit, dass keine Heimsuchung Russland vernichten kann, dessen gewaltige Größe allein schon Unterpfand für seine Standfestigkeit ist, bleibt für Millionen Menschen der Krieg, die Erinnerung an den Krieg, die wiederum zu einem neuen Mythos herangereift ist. Motive dieses Mythos werden in die Geschichten von Kriegserlebnissen eingeflochten, die sich in jeder Familie erhalten haben. Der Zweite Weltkrieg ist der einzige Bereich in der Vergan-



людей ни насмешки, ни презрения. В конце концов, им безразлично, кто такой был Сталин на самом деле. Но то, что самая страшная катастрофа пронеслась мимо, а страна как была, так и осталась, то, что самая сильная армия мира сломала себе шею в России, служит до сих пор высшим и последним доказательством – чего? Конечной правоты, обоснованности веры в Россию. Быть может, впрочем, и эта гордость – всего лишь временная историческая оболочка веры, которая неподвластна времени и существует если не в пику истории, то как бы с ней наравне.

Веру эту можно определить как смирение паче гордыни. Ибо самая неустроенность нашей страны, неразумие, бедность, грязь, какая-то вековая невезуха – непонятным образом укрепляют веру. Трезвый анализ убеждает, что у этой страны нет будущего; а одна вера никого не убедит. Вера эта заключает в себе колоссальный потенциал терпения – и, по-видимому, ничего конструктивного. С такой верой невозможно стать предметом зависти и восхищения для других, невозможно остановить пораженного Божьим чудом созерцателя и заставить, по слову Гоголя, посторониться другие народы и государства. Но с ней можно жить.

„Вижу тебя, из моего чудного, прекрасного далека вижу...” Для людей, оставивших Россию, все повернулось наоборот, и глухая, недобрая земля наша сама превратилась в прекрасную даль, которая уходит все дальше и дальше и раздвигается все шире и шире.

genheit, wo der offizielle Wortschatz nicht in Widerspruch zum Bewusstsein des Volkes tritt; im Zusammenhang mit Kriegserinnerungen löst nicht einmal der Name Stalin Spott oder Verachtung bei den einfachen Leuten aus. Es ist ihnen letzten Endes gleichgültig, was für ein Mensch Stalin in Wirklichkeit war. Doch dass die furchtbarste Katastrophe vorüberstürmte, das Land aber so blieb, wie es gewesen war, dass die stärkste Armee der Welt in Russland scheiterte, dient bis heute als höchster und letzter Beweis – wofür? Dafür, dass der Glaube an Russland letztlich berechtigt ist. Auch dieser Stolz mag im Übrigen lediglich eine vorübergehende, geschichtliche Hülle jenes Glaubens sein, der, unabhängig von der Zeit, einfach existiert, wenn auch nicht der Geschichte zum Trotz, so doch gewissermaßen auf gleicher Höhe mit ihr. Dieser Glaube lässt sich eher als Demut denn als Hochmut definieren. Denn die Ungeordnetheit des Landes, die Unvernunft, die Armut und der Schmutz, die ewige Verfolgung durch das Pech stärken ihn auf unbegreifliche Weise. Die nüchterne Analyse überzeugt davon, dass Russland keine Zukunft hat; dieser Glaube aber wird niemanden überzeugen. Er enthält ein kolossales Potential an Geduld, aber offenbar nichts Konstruktives. Mit diesem Glauben kann man kein Gegenstand des Entzückens für andere werden, keinen von einem göttlichen Wunder angerührten Beschauer zum Innehalten bewegen und, mit Gogol gesprochen, keine anderen Völker und Reiche dazu bringen, den Weg freizugeben. Doch man kann mit ihm leben.

### III

#### Полуночное бракосочетание / Mitternächtliche Trauung

„Нет – это невозможно... Тысячелетние предчувствия не могут обманывать. Россия, страна верующая, не ощутит недостатка веры в решительную минуту. Она не устрашится величия своего призвания и не отступит перед своим назначением. И когда же это призвание могло быть более ясным и очевидным? Можно сказать, что Господь начертал его огненными буквами на этом небе, омраченном бурями... Запад исчезает, все гибнет, все рушится в этом общем воспламенении... И когда над этим громадным крушением мы видим всплывающую святым ковчегом эту империю еще более громадную, то кто дерзнет сомневаться в ее призвании, и нам ли, сынам ее, являть себя неверующими и малодушными?“

Читаешь и думаешь: можно ли было злей посмеяться над нашей страной... Что сказал бы он сейчас, этот оратор, если бы высунулся из гроба? Хлопнул бы крышкой, и больше бы мы его не видали. А ведь это был Тютчев. Была ли его фантастическая вера, подогретая зрелищем баррикад 1848 года, выражением подлинной любви к родине? Я бы хотел знать, что значит быть патриотом.

Иногда начинает казаться, что все слова потеряли смысл. Один из самых опасных и труднопреодолимых соблазнов – применить к жизни страны категории человеческой жизни. Трудно найти историка или философа, который не поддавался бы этому соблазну, оперируя

Eine der gefährlichsten Versuchungen, denen man nur schwer widerstehen kann, ist es, die Kategorien des menschlichen Lebens auf das Leben eines Volkes anzuwenden. Nur mit Mühe findet man einen Historiker oder Philosophen, der dieser Versuchung beim Operieren mit Begriffen wie „Land“, „Nation“ und „Volk“ nicht erlegen wäre. Angst und Hoffnung, Jugend und Welke, Freiheit, Notwendigkeit und Schicksal sind nicht nur deshalb keine leeren Worte, weil sie von uns als Komponenten unserer Person, als Facetten unseres „Ich“ begriffen werden. Über das Schicksal eines Landes und dessen Prädestination, über die Vergangenheit und Zukunft eines ganzen Volkes zu philosophieren, heißt das nicht, eine Metapher zu missbrauchen, die ohnehin schon so viel Schaden angerichtet hat, nämlich die Vorstellung von der Nation als einer Person mit eigener „Seele“ und eigenem „Schicksal“ wiederaufzugreifen? Anstatt sich zu sagen: Das ist die Wirklichkeit, das sind die Fakten, das ist das geographische Terrain, auf dem soundsoviele Millionen Menschen leben, die mehr oder weniger mit ihrem Leben zufrieden oder mehr oder weniger unglücklich sind, Menschen, die einem Staat angehören, in einer der in ihm gesprochenen Sprachen sprechen, in einem mehr oder weniger vereinheitlichten System von Begriffen, Werten und Vorurteilen

такими понятиями, как нация и народ. Страх и надежда, юность и увядание, свобода, необходимость, предназначение, судьба – потому лишь не пустые слова, что они осознаются как нечто неотделимое от личности, как лики нашего „я“, и все еще позволяют нам, говоря словами Хайдеггера, жить в истине бытия. Философствовать о судьбе страны и ее предназначении, о прошлом и будущем целого народа – не значит ли злоупотребить метафорой, которая и без того уже принесла так много вреда: вернуться к представлению о нации как о личности со своей „душой“ и „судьбой“? Вместо того чтобы сказать себе: вот действительность, вот факты, вот географическая территория, на которой проживает столько-то миллионов человек, более или менее довольных жизнью, более или менее несчастных, людей, которые принадлежат единому государству, говорят на одном из существующих в нем языков, воспитаны в более или менее унифицированной системе понятий, ценностей, предрассудков, но в огромном большинстве своем вовсе не помышляют ни о прошлом, ни о будущем своей страны, ибо им хватает собственных повседневных забот, людей, чья историческая память едва ли выходит за пределы их личной жизни и жизни их родителей, – вместо трезвого взгляда на действительность является некий образ, рождается историософский фантом, запекает миф. Поэты, композиторы, словно сирены, подхватывают его один за другим, поколения мыслителей, которых правильной было бы назвать рапсода-

erzogen worden sind, in ihrer überwältigenden Mehrheit jedoch weder über die Vergangenheit noch die Zukunft ihres Landes nachdenken, da ihnen die eigenen Alltagssorgen reichen, Menschen, deren historisches Gedächtnis kaum über ihr eigenes Leben und das ihrer Eltern hinausreicht – anstatt des nüchternen Blicks auf die Wirklichkeit also stellt sich ein gewisses Bild ein, entsteht ein historisches Phantom, erklingt der Mythos. Dichter und Komponisten stimmen wie Sirenen einer nach dem anderen ein; Generationen von Denkern, die man besser Rhapsoden nennen sollte, sind in Trance, in heiligem Schrecken versunken, der die Seele im Vorgefühl der Wahrheit ergreift, die irgendwo ganz nah ist und doch unfassbar bleibt: Der bleiche, wie von einem giftigen Trank berauschte Berdjajew verkündet mit geschlossenen Augen und zuckender Wange „Gottes Idee vom russischen Volk“, Dostojewskij schreibt in Dresden zwischen zwei Anfällen der heiligen Krankheit, nachts, in der Totenstille des schlafenden Hotels, jenes Kapitel der *Dämonen*, das „Die Nacht“ heißt. Und wie im Theater senkt sich Dunkel über alles herab. Es versinken und verschwinden Europa, Sedan, der Deutsch-Französische Krieg, die Gefangennahme des französischen Kaisers. Im trüben Schein der Tischlampe zeichnet sich auf der Bühne das ärmliche, kleine Zimmer im Halbgeschoß des leeren Hauses in der Bogojawlenskaja-Straße ab, in dem das nächtliche Gespräch zwischen Schadow und Stawrogin stattfindet. Wer

ми, погружены в какой-то транс, священный ужас, охватывающий душу в предчувствии истины, которая где-то рядом, но остается неуловимой. Бледный, словно опоенный каким-то зельем Бердяев, закрыв глаза, с дергающейся щекой, вещает „Божий замысел о русском народе“, Достоевский в Дрездене, между двумя припадками священного недуга, ночью, в мертвой тишине уснувшей гостиницы пишет главу „Бесов“, которая так и называется: „Ночь“. И как будто в театре, все погружается в мрак. Тонет и исчезает Европа, Седан, франко-прусская война и пленение французского императора. В тусклом сиянии настольной лампы на сцене вырисовывается бедная комнатка в мезонине пустого дома на Богоявленской улице, где происходит ночной разговор между Шатовым и Ставрогиним. Тому, кто жил в провинциальных русских городах, легко представить себе и влажный, „темный, как погреб“ сад, куда вышел Николай Ставрогин, отправляясь к Шатову, и грязные неосвещенные переулки Заречной стороны, и эту Богоявленскую улицу; по крайней мере в Калинин, прежде называвшемся Тверью, где, по-видимому, происходит действие „Бесов“, многое выглядит точно так же и сто лет спустя. Есть нечто наркотическое в этих страницах, на которых, как на стенах комнаты, пляшут жестикулирующие тени. Это – ночной разговор о том, что народ есть тело Божье, а Бог – синтетическая личность русского народа. И невозможно понять, где кончается навязывание идей и начинается нава-

einmal in einer russischen Provinzstadt gelebt hat, kann sich leicht den feuchten Garten vorstellen, der „dunkel wie ein Keller“ ist, und in den Nikolaj Stawrogin hinausgeht, als er sich zu Schatow begibt, die schlammigen, unbeleuchteten Gassen am jenseitigen Ufer und auch diese Bogojawlenskaja-Straße; wenigstens sieht in Kalinin, dem früheren Twer, wo sich die Handlung der *Dämonen* offensichtlich abspielt, auch hundert Jahre später vieles ganz genauso aus. Diese Seiten, über die wie über die Zimmerwände gestikulierende Schatten tanzen, haben etwas Narkotisierendes. Es ist ein Nachtgespräch; man redet darüber, dass das Volk der Körper Gottes sei, Gott aber die synthetische Person des russischen Volkes. Und es bleibt unklar, wo die Berückung durch die Ideen aufhört und die Behexung durch diese ganze Szenerie anfängt: der Lampenschimmer, die gedämpften Stimmen, das Knarren der Dielen und der endlose Regen am Fenster, dumpfer Herbstregen, wie es ihn nur in Russland gibt. Dieses Licht auf dem Tisch ist die letzte Zuflucht, ist Haus und Anker. Wie ein Kuppler versucht Schatow Stawrogin mit der Idee der mystischen Vereinigung mit Russland zu ködern. Dort draußen herrschen Dunkelheit und Unwetter, dort streifen die Dämonen umher, dort treibt sich der aus Sibirien geflüchtete Mörder herum. Hier aber lockt der süße Krampf der Selbstaufgabe und Selbstvergessenheit. Russland ist ein riesiger Körper, er ist warm: der Körper einer Frau. Sich restlos in ihn versenken, sich in

ждение всей этой обстановки, блеск лампы, глухие голоса, скрип половиц и бесконечный дождь за окном, глухой осенний дождь, какой бывает только в России. Этот свет на столе – последнее пристанище, дом, якорь. Шагов, как сводня, соблазняет Ставрогина мистическим совокуплением с Русью. Там, снаружи – тьма и непогода, и рыщут бесы, и бродит убийца, сбежавший с каторги. А здесь сладкая судорога самоотдачи и забвение. Русь – огромное тело, теплое тело женщины. Погрузиться в него без остатка, раствориться в нем. Отказаться от суверенитета собственной личности. Вот условие спасения. Заплатить за него надо свободой. Ни один русский писатель ни до, ни после Достоевского не сделал так много для того, чтобы воссиял русский миф; ни один русский писатель так не скомпрометировал этот миф. Но система взаимоисключающих оппозиций, мышление в категориях „или – или“, – черта, присущая в этой стране не ему одному. Или эротика национализма, или аскеза одиночества. Или мистическая оцепенелость перед идолом „почвы“, самоотождествление с народом, с его внеисторической, темной и безотчетной правдой, мистический брак с родиной, и тогда я уже никогда не буду свободен. Или свобода. Но тогда я навсегда один. Вот к чему, собственно, сводится представление о нации как о высшей экзистенции, вбирающей в себя все частные экзистенции, всех нас без остатка, и сегодняшний русский национализм ничего к этому представлению не прибавил.

Замечательно, однако, что он не

ihm auflösen, auf die Souveränität der eigenen Person verzichten, das ist die Bedingung der Rettung. Bezahlen muss man sie mit der Freiheit. Weder vor noch nach Dostojewskij tat ein russischer Schriftsteller soviel, um den russischen Mythos erstrahlen zu lassen; kein anderer russischer Schriftsteller brachte diesen Mythos auch so in Verruf. Doch das System der sich gegenseitig ausschließenden Oppositionen, das Denken in den Kategorien „entweder – oder“ ist ein Wesenszug, der in Russland nicht nur Dostojewskij eigen ist. Entweder die Erotik des Nationalismus oder die Askese der Einsamkeit. Entweder die mystische Erstarrung vor dem Idol der „Erde“, die Identifizierung der eigenen Person mit dem Volk, mit seiner außergeschichtlichen, dunklen, unbewussten Wahrheit und die mystische Ehe mit der Heimat, dann werde ich nie mehr frei sein. Oder die Freiheit. Doch dann bin ich für immer allein. Darin gipfelt im Grund die Vorstellung von der Nation als einer höheren Existenz, die sämtliche Teilexistenzen, uns alle eben, restlos in sich aufsaugt, und der heutige russische Nationalismus hat dieser Vorstellung nichts hinzugefügt.

Bemerkenswert ist jedoch, dass er sie nicht bloßzustellen vermochte. Dieser neue Nationalismus, der, schwül und stickig, in den letzten Jahrzehnten in den Künstlerkreisen und literarisch-philosophischen Zirkeln beider Hauptstädte als kränkliche Blüte teils an der Oberfläche, teils im Untergrund erblüht und in hundert Jahren eigentlich keinen Schritt vorwärts

сумел его скомпрометировать. Этот новый национализм, болезненным цветом расцветший в последние десятилетия в художественных и литературно-философских кружках обеих столиц частью на поверхности, частью в подполье, душный и затхлый, в сущности не сделавший за сто лет ни одного шага вперед, — при всем его очевидном эпигонстве не сумел окончательно лишить очарования „русскую идею”. Составившись, она нисколько не подурнела и кажется еще соблазнительней. Дело в том, что оспорить националистический миф невозможно: его *raison d'être*\* носит почти физиологический характер. Миф этот сросся с нерушимой догмой российской имперской государственности, облекающей русский народ, словно богатыря, в шлем и латы, но его внутренняя, скрытая в подполье разума и неистребимая основа находится по ту сторону каких бы то ни было политических, идеологических или философских соображений. В своем глубочайшем ядре он неуязвим. Архетип народа как единого живого тела, вневременный, неизменный в смене правительств, режимов, эпох, — возможно, выражает то, что внутренне очевидно для каждого, кому выпало счастье или несчастье родиться и жить в России: ощущение интимной связи между собственной жизнью и страной. Больше того: переживание страны как некоторого продолжения собственной личности. Если это так, то „Божий замысел о русском народе” вновь обретает резон и смысл.

\* оправдание (*франц.*)

gekommen ist, hat bei all seinem offensichtlichen Epigontum die „russische Idee“ nicht endgültig ihres Zaubers berauben können. Gealtert, hat sie nicht das Mindeste von ihrer Schönheit verloren und wirkt sogar noch verführerischer. Der nationale Mythos lässt sich nämlich nicht anfechten: Seine *raison d'être* hat beinahe physiologischen Charakter. Dieser Mythos ist verwachsen mit dem unzerstörbaren Dogma der altrussischen, imperialistischen Staatlichkeit, die das russische Volk gleichsam wie einen Recken in Helm und Harnisch hüllt, doch seine innere, im Keller der Vernunft verborgene, unverwüstliche Basis befindet sich jenseits jeglicher politischer, ideologischer oder philosophischer Denkansätze. In seinem tiefsten Innern ist er unverwundbar. Der Archetyp des Volkes als eines ganzen, lebendigen Körpers, der außerzeitlich und unveränderlich ist im Wechsel der Regierungen, Regime und Epochen, drückt möglicherweise das aus, was jedem intuitiv klar ist, der das Glück oder Unglück hatte, in Russland geboren zu sein und zu leben, nämlich das Gefühl der engen Verbindung zwischen dem eigenen Leben und diesem Land. Mehr noch: das Erleben des Landes als eine Erweiterung der eigenen Person. Wenn dem so ist, dann erhält „Gottes Idee vom russischen Volk“ aufs neue Sinn und Kraft.